

Annotation

Впервые напечатано в нижегородской газете «Волгарь», 1894, номер 35, 13 февраля; номер 37, 16 февраля; номер 39, 18 февраля; номер 41, 20 февраля; номер 43, 23 февраля.

В оригинале набора для собрания сочинений в издании «Книга» Горький, уточняя время написания рассказа, исправил дату 1894 на 1893 год.

Рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

-
- [Максим Горький](#)
-

Максим Горький

Дед Архип и Лёнька

Ожидая паром, они оба легли в тень от берегового обрыва и долго молча смотрели на быстрые и мутные волны Кубани у их ног. Лёнька задремал, а дед Архип, чувствуя тупую, давящую боль в груди, не мог уснуть. На тёмно-коричневом фоне земли их отрёпанные и скорченные фигуры едва выделялись двумя жалкими комками, один – побольше, другой – поменьше, утомлённые, загорелые и пыльные физиономии были совсем под цвет бурым лохмотьям.

Костлявая и длинная фигура дедушки Архипа вытянулась поперёк узкой полоски песка – он жёлтой лентой тянулся вдоль берега, между обрывом и рекой; задремавший Лёнька лежал калачиком сбоку деда. Лёнька был маленький, хрупкий, в лохмотьях он казался корявым сучком, отломленным от деда – старого иссохшего дерева, принесённого и выброшенного сюда, на песок, волнами реки.

Дед, приподняв на локте голову, смотрел на противоположный берег, залитый солнцем и бедно окаймлённый редкими кустами ивняка; из кустов высывался чёрный борт парома. Там было скучно и пусто. Серая полоса дороги уходила от реки в глубь степи; она была как-то беспощадно пряма, суха и наводила уныние.

Его тусклые и воспалённые глаза старика, с красными, опухшими веками, беспокойно моргали, а испещрённое морщинами лицо замерло в выражении томительной тоски. Он то и дело сдержанно кашлял и, поглядывая на внука, прикрывал рот рукой. Кашель был хрипл, удушлив, заставлял деда приподниматься с земли и выжимал на его глазах крупные капли слёз.

Кроме его кашля да тихого шороха волн о песок, в степи не было никаких звуков... Она лежала по обе стороны реки, громадная, бурая, сожжённая солнцем, и только там, далеко на горизонте, еле видимое старческим глазом, пышно волновалось золотое море пшеницы и прямо в него падало ослепительно яркое небо. На нём вырисовывались три стройные фигуры далёких тополей; казалось, что они то уменьшаются, то становятся выше, а небо и пшеница, накрытая им, колеблются, поднимаясь и опускаясь. И вдруг всё скрывалось за блестящей, серебряной пеленой степного марева...

Эта пелена, струистая, яркая и обманчивая, иногда притекала из дали почти к самому берегу реки, и тогда сама она была как бы рекой, вдруг излившейся с неба, такой же чистой и спокойной, как оно.

Тогда дед Архип, незнакомый с этим явлением, потирал свои глаза и тоскливо думал про себя, что эта жара да степь отнимают у него и зрение, как отняли остатки силы в ногах.

Сегодня ему было более плохо, чем всегда за последнее время. Он чувствовал, что скоро умрёт, и хотя относился к этому совершенно равнодушно, без дум, как к необходимой повинности, но ему бы хотелось умереть далеко, не здесь, а на родине, и ещё его сильно смущала мысль о внуке... Куда денется Лёнька?..

Он ставил перед собой этот вопрос по несколько раз в день, и всегда при этом в нём что-то сжималось, холодело и становилось так тошно, что ему хотелось сейчас же воротиться домой, в Россию...

Но – далеко идти в Россию... Всё равно не дойдёшь, умрёшь где-нибудь в дороге. Здесь по Кубани подают милостыню щедро; народ всё зажиточный, хотя тяжёлый и насмешливый. Не любят нищих, потому что богаты...

Остановив на внуке увлажнённый слезой взгляд, дед осторожно погладил шершавой рукой его голову.

Тот зашевелился и поднял на него голубые глаза, большие, глубокие, не по-детски вдумчивые и казавшиеся ещё больше на его худом, изрытом оспой личике, с тонкими, бескровными губами и острым носом.

– Идёт? – спросил он и, приложив щитком руку к глазам, посмотрел на реку, отражавшую лучи солнца.

– Нет ещё, не идёт. Стоит. Чего ему здесь? Не зовёт никто, ну и стоит он... – медленно заговорил Архип, продолжая гладить внука по голове. – Дремал ты?

Лёнька неопределённо покрутил головой и вытянулся на песке. Они помолчали.

– Кабы я плавать умел, купаться бы стал, – пристально глядя на реку, заявил Лёнька. – Быстра больно река-то! Нет у нас таких рек. Чего треплет? Бежит, точно опоздать боится...

И Лёнька недовольно отвернулся от воды.

– А вот что, – заговорил дед, подумав, – давай распояшемся, пояски-то свяжем, я тебя за ногу прикручу, ты и лезь, купайся...

– Ну-у!.. – резонно протянул Лёнька. – Чего выдумал! Али ты думаешь, не стащит она тебя? И утонем оба.

– А ведь верно! Стащит. Ишь как прёт... Чай, весной-то разольётся –

ух ты!.. И покосу тут – беда! Без краю покосу!

Лёньке не хотелось говорить, и он оставил слова деда без ответа, взяв в руки ком сухой глины и разминая его пальцами в пыль с серьёзным и сосредоточенным выражением на лице.

Дед смотрел на него и о чём-то думал, щуря глаза.

– Ведь вот... – тихо и монотонно заговорил Лёнька, стряхивая с рук пыль. – Земля эта теперь... взял я её в руки, растёр, и стала пыль... крохотные кусочки одни только, чуть глазом видно...

– Ну, так что ж? – спросил Архип и закашлялся, посматривая сквозь выступившие на глазах слёзы в большие сухо блестящие глаза внука. – Ты к чему это? – добавил он, когда прокашлялся.

– Так... – качнул головой Лёнька... – К тому, что, мол, вся-то она эвона какая!.. – Он махнул рукой за реку. – И всего на ней понастроено... Сколько мы с тобой городов прошли! Страсть! А людей везде сколько!

И, не умея уловить свою мысль, Лёнька снова молча задумался, посматривая вокруг себя.

Дед тоже помолчал немного и потом, плотно подвинувшись к внуку, ласково заговорил:

– Умница ты моя! Правильно сказал ты – пыль всё... и города, и люди, и мы с тобой – пыль одна. Эх ты, Лёнька, Лёнька!.. Кабы грамоту тебе!.. далеко бы ты пошёл. И что с тобой будет?..

Дед прижал голову внука к себе и поцеловал её.

– Погоди... – высвобождая свои льняные волосы из корявых, дрожащих пальцев деда, немного оживляясь, крикнул Лёнька. – Как ты говоришь? Пыль? Города и всё?

– А так уж устроено богом, голубь. Всё – земля, а сама земля – пыль. И всё умирает на ней... Вот как! И должен потому человек жить в труде и смирении. Вот и я тоже умру скоро... – перескочил дед и тоскливо добавил: – Куда ты тогда пойдёшь без меня-то?

Лёнька часто слышал от деда этот вопрос, ему уже надоело рассуждать о смерти, он молча отвернулся в сторону, сорвал былинку, положил её в рот и стал медленно жевать.

Но у деда это было больное место.

– Что ж ты молчишь? Как, мол, ты без меня-то будешь? – тихо спросил он, наклоняясь к внуку и снова кашляя.

– Говорил уж... – рассеянно и недовольно произнёс Лёнька, искоса взглядывая на деда.

Ему не нравились эти разговоры ещё и потому, что зачастую они кончались ссорой. Дед долго говорил о близости своей смерти. Лёнька

сначала слушал его сосредоточенно, пугался представлявшейся ему новизны положения, плакал, но постепенно утомлялся – и не слушал деда, отдаваясь своим мыслям, а дед, замечая это, сердился и жаловался, что Лёнька не любит деда, не ценит его забот, и наконец упрекал Лёньку в желании скорейшего наступления его, дедовой, смерти.

– Что – говорил? Глупенький ты ещё, не можешь ты понимать своей жизни. Сколько тебе от роду? Одиннадцатый год только. И хил ты, негодный к работе. Куда ж ты пойдёшь? Добрые люди, думаешь, помогут? Кабы у тебя вот деньги были, так они бы помогли тебе прожить их – это так. А милостыню-то собирать – не сладко и мне, старику. Каждому поклонись, каждого попроси. И ругают тебя, и колотят часом, и гонят... Рази ты думаешь, человеком считают нищего-то? Никто! Десять лет по миру хожу – знаю. Кусок-то хлеба в тыщу рублей ценят. Подаст да и думает, что уж ему сейчас же райские двери отворят! Ты думаешь, подают зачем больше? Чтобы совесть свою успокоить; вот зачем, друг, а не из жалости! Ткнёт тебе кусок, ну, ему и не стыдно самому-то есть. Сытый человек – зверь. И никогда он не жалеет голодного. Враги друг другу – сытый и голодный, веки вечные они сучком в глазу друг у друга будут. Потому и невозможно им жалеть и понимать друг друга...

Дедушка воодушевился злобой и тоской. От этого у него тряслись губы, старческие, тусклые глаза быстро шмыгали в красных рамках ресниц и век, а морщины на тёмном лице выступили резче.

Лёнька не любил его таким и немного боялся чего-то.

– Вот я тебя и спрашиваю, что ты станешь делать с миром? Ты – хилый ребёночек, а мир-то – зверь. И проглотит он тебя сразу. А я не хочу этого... Люблю ведь я тебя, дитятко!.. Один ты у меня, и я у тебя один... Как же я буду умирать-то? Невозможно мне умереть, а ты чтоб остался... На кого?.. Господи!.. за что ты не возлюбил раба твоего?! Жить мне невмочь и умирать мне нельзя, потому – дитё, – оберечь должен. Пестовал семь годов... на руках моих... старых... Господи, помоги мне!..

Дедушка сел и заплакал, уткнув голову в колени дрожащих ног.

Река торопливо катилась вдаль, звучно плескалась о берег, точно желая заглушить этим плеском рыдания старика. Ярко улыбалось безоблачное небо, изливая жгучий зной, спокойно слушая мятежный шум мутных волн.

– Будет, не плачь, дедушка, – глядя в сторону, суровым тоном проговорил Лёнька и, повернув к деду лицо, добавил: – Говорили обо всём уж ведь. Не пропаду. Поступлю в трактир куда ни то...

– Забьют... – сквозь слёзы простонал дед.

– Может, и не забьют. А вот как не забьют! – с некоторым задором

вскричал Лёнька, – тогда что? Не дамся каждому!..

Но тут Лёнька вдруг почему-то осёкся и, помолчав, тихонько сказал.

– А то в монастырь уйду...

– Кабы в монастырь! – вздохнул дед, оживляясь, и снова начал корчиться в припадке удушливого кашля.

Над их головами раздался крик и скрип колес...

– Паро-о-м!.. Паро-о – гей! – сотрясала воздух чья-то могучая глотка.

Они вскочили на ноги, подбирая котомки и палки.

Пронзительно скрипя, на песок въехала арба. В ней стоял казак и, закинув голову в мохнатой, надвинутой на одно ухо шапке, приготовлялся гикнуть, вбирая в себя открытым ртом воздух, отчего его широкая, выпяченная вперёд грудь выпячивалась ещё более. Белые зубы ярко сверкали в шёлковой раме чёрной бороды, начинавшейся от глаз, налитых кровью. Из-под расстёгнутой рубахи и чохи, небрежно накинутой на плечи, виднелось волосатое, загорелое на солнце тело. И от всей его фигуры, прочной и большой, как и от лошади, мясистой, пегой и тоже уродливо большой, от колёс арбы, высоких, стянутых толстыми шинами, – разило сытостью, силой, здоровьем.

– Гей!.. Гей!..

Дед и внук стащили с своих голов шапки и низко поклонились.

– Здравствуйте! – гулко отрубил приехавший и, посмотрев на тот берег, где из кустов выползал медленно и неуклюже чёрный паром, стал пристально оглядывать нищих. – Из России?

– Из неё, милостивец! – с поклоном ответил Архип.

– Голодно там у вас, а?

Он спрыгнул с арбы на землю и стал что-то подтягивать в упряжке.

– И тараканы с голода мрут.

– Хо, хо! И тараканы мрут? Значит, аж крошек не осталось, всё поели? Ловко едите. А вот работаете, должно, погано. Потому, как хорошо работать станешь, не будет голоду, – Тут, кормилец, главная причина – земля. Не родит. Высосали землю-то мы.

– Земля? – тряхнул казак головой. – Земля всегда должна родить, на то она и дана человеку. Говори: не земля, а руки. Руки плохи. От хороших рук камень не отобьётся, родит.

Подъехал паром.

Двое здоровых, краснорожих казаков, упираясь толстыми ногами в пол парома, с треском ткнули его о берег, покачнулись, бросили из рук канат и, взглянув друг на друга, стали отдуваться.

– Жарко? – оскалил зубы приехавший, вводя на паром свою лошадь и

дотрагиваясь рукой до шапки.

– Эге! – ответил один из паромщиков, глубоко засунув руки в карманы шаровар, и, подойдя к арбе, заглянул в неё и повёл носом, сильно втянув в себя воздух.

Другой сел на пол и, кряхтя, стал снимать сапог.

Дед и Лёнька вошли на паром и прислонились к борту, посматривая на казаков.

– Ну, едем! – скомандовал хозяин арбы.

– А ты не везёшь ничего с собой попить? – спросил у него тот, что осматривал арбу. Его товарищ снял сапог и, прищулив глаз, смотрел в голенище.

– Ничего. А что? разве в Кубани воды мало?

– Воды!.. я не о воде.

– А о горилке? Не везу горилки.

– Как же это ты не везёшь? – задумался спрашивавший, уставив глаза в пол парома.

– Ну-ну, едем!

Казак поплевал на руки и взялся за канат. Переезжавший стал помогать ему.

– А ты, дед, что же не поможешь? – обратился паромщик, возившийся с сапогом, к Архипу.

– Где мне, родной! – жалобным тоном и качая головой, пропел тот.

– И не надо им помогать. Они и одни управятся!

И, как бы желая убедить деда в истине своих слов, он грузно опустился на колени и лёг на палубе парома.

Его товарищ лениво ругнул его и, не получив ответа, громко затопал ногами, упираясь в палубу.

Отбиваемый течением, с глухим шумом плескавшим о его бока, паром вздрагивал и качался, медленно подвигаясь вперёд.

Глядя на воду, Лёнька чувствовал, что у него сладко кружится голова и глаза, утомлённые быстрым бегом волн, дремотно слипаются. Глухой шёпот деда, скрип каната и сочный плеск волн убаюкивали его; он хотел опуститься на палубу в дремотной истоме, но вдруг что-то качнуло его так, что он упал.

Широко раскрыв глаза, он смотрел кругом. Над ним смеялись казаки, причаливая паром за обгорелый пенёк на берегу.

– Что, заснул? Хилый ты. Садись в арбу, довезу до станицы. И ты, дед, садись.

Благодаря казака нарочито гнусавым голосом, дед, кряхтя, влез в арбу.

Лёнька тоже прыгнул туда, и они поехали в клубах мелкой чёрной пыли, заставлявшей деда задыхаться от кашля.

Казак затянул песню. Пел он странными звуками, отрывая ноты в середине и доканчивая их свистом. Казалось, он развивает звуки с клубка, как нитки, и, когда ему встречается узел, обрывает их.

Колёса жалобно скрипели, вилась пыль, дед, трясая головой, не переставая кашлял, а Лёнька думал о том, что вот сейчас приедут они в станицу и нужно будет гнусавым голосом петь под окнами: «Господи, Иисусе Христе»... Снова станичные мальчишки будут задирать его, а бабы надоедать расспросами о России. Нехорошо в эту пору смотреть и на деда, который кашляет чаще, горбится ниже, отчего ему самому неловко и больно, и говорит таким жалобным голосом, то и дело всхлипывая и рассказывая о том, чего нигде и никогда не было... Говорит, что в России на улицах мрёт народ, да так и валяется, и убрать некому, потому что все люди обалдели от голода... Ничего этого они с дедом не видали нигде. А нужно всё это для того, чтобы больше подавали. Но куда её, милостыню, здесь денешь? Дома – там можно всегда продать по сорок копеек и даже по полтине за пуд, а здесь никто не покупает. Потом приходится эти куски, иногда очень вкусные, выбрасывать из котомок в степи.

– Сбирать пойдёте? – спросил казак, оглядывая через плечо две скорченные фигуры.

– Уж конечно, почтенный! – со вздохом ответил ему дед Архип.

– Встань на ноги, дед, покажу, где живу, – ночевать ко мне придёте.

Дед попробовал встать, но упал, ударившись боком о край арбы, и глухо застонал.

– Эх ты, старый!.. – буркнул казак, соболезнуя. – Ну, всё равно, не гляди; придёт пора на ночлег идти, спроси Чёрного, Андрея Чёрного, это я и есть. А теперь слезай. Прощайте!

Дед и внук очутились перед кучкой тополей и осокорей. Из-за их стволов виднелись крыши, заборы, повсюду – направо и налево – к небу вздымались такие же кучки. Их зелёная листва была одета серой пылью, а кора толстых прямых стволов потрескалась от жары.

Прямо перед нищими между двух плетней тянулся узкий проулок, они направились в этот проулок развалистой походкой много ходивших пешком людей.

– Ну, как мы, Лёня, пойдём – вместе или порознь? – спросил дед и, не дожидаясь ответа, прибавил: – Вместе бы лучше – мало больно тебе дают. Не умеешь ты просить-то...

– А куда много-то надо? Всё равно ведь не поедаем... – хмуро ответил

Лёнька, оглядываясь вокруг.

– Куда? Чужака ты!.. А вдруг подвернётся человек да и купит? Вот те и куда!.. Деньги даст. А деньги дело большое; ты с ними небось не пропадёшь, как умру-то я.

И, ласково усмехаясь, дед погладил внука рукой по голове.

– Ты знаешь ли, сколько я за путину-то скопил? А?

– А сколько? – равнодушно спросил Лёнька.

– Одиннадцать с полтиной!.. Видишь?!

Но на Лёньку не произвели впечатления эта сумма и ликующий тон деда.

– Эх ты, малыш, малыш! – вздохнул дед. – Так порознь, что ли, идём?

– Порознь...

– Ну... К церкви приходи, буде.

– Ладно.

Дед свернул в проулок налево, а Лёнька пошёл дальше. Сделав шагов десять, он услышал дребезжащий возглас: «Благодетели и кормильцы!..» Этот возглас был похож на то, как бы по расстроенным гуслиам провели ладонью с самой густой до тонкой струны. Лёнька вздрогнул и прибавил шагу. Всегда, когда слышал он просьбы деда, ему становилось неприятно и как-то тоскливо, а когда деду отказывали, он даже робел, ожидая, что вот сейчас разревется дедушка.

До слуха его ещё долетали дрожащие, жалкие ноты дедова голоса, плутавшие в сонном и знойном воздухе над станицей. Кругом было всё так тихо, точно ночью. Лёнька подошёл к плетню и сел в тени от свесившихся через него на улицу ветвей вишни. Где-то гулко жужжала пчела...

Сбросив котомку с плеч, Лёнька положил на неё голову и, немного посмотрев в небо сквозь листву над его лицом, крепко заснул, укрытый от взглядов прохожих густым бурьяном и решётчатой тенью плетня...

Проснулся он, разбуженный странными звуками, колебавшимися в воздухе, уже посвежевшем от близости вечера. Кто-то плакал неподалёку от него. Плакали по-детски – задорно и неугомонно. Звуки рыданий замирали в тонкой минорной ноте и вдруг снова и с новой силой вспыхивали и лились, всё приближаясь к нему. Он поднял голову и через бурьян поглядел на дорогу.

По ней шла девочка лет семи, чисто одетая, с красным и вспухшим от слёз лицом, которое она то и дело вытирала подолом белой юбки. Шла она медленно, шаркая босыми ногами по дороге, вздымая густую пыль, и, очевидно, не знала, куда и зачем идёт. У неё были большие чёрные глаза, теперь – обиженные, грустные и влажные, маленькие, тонкие, розовые

ушки шаловливо выглядывали из прядей каштановых волос, растрёпанных и падавших ей на лоб, щёки и плечи.

Она показалась Лёньке очень смешной, несмотря на свои слёзы, – смешной и весёлой... И озорница, должно быть!..

– Ты чего плачешь? – спросил он, вставая на ноги, когда она поравнялась с ним.

Она вздрогнула и остановилась, сразу перестав плакать, но всё ещё потихоньку всхлипывая. Потом, когда она несколько секунд посмотрела на него, у неё снова дрогнули губы, сморщилось лицо, грудь колыхнулась, и, снова громко зарыдав, она пошла.

Лёнька почувствовал, как у него что-то сжалось внутри, и вдруг тоже пошёл за ней.

– А ты не плачь. Большая уж – стыдно! – заговорил он, ещё не поравнявшись с ней, и потом, когда догнал её, заглянул ей в лицо и переспросил снова: – Ну, чего ты разревелась?

– Да-а!.. – протянула она. – Кабы тебе... – и вдруг опустилась в пыль на дорогу, закрыв лицо руками, и отчаянно заныла.

– Ну! – пренебрежительно махнул рукой Лёнька. – Баба!.. Как есть – баба. Фу ты!..

Но это не помогло ни ей, ни ему. Лёньке, глядя, как между её тонкими розовыми пальцами струились одна за другой слезинки, стало тоже грустно и захотелось плакать. Он наклонился над нею и, осторожно подняв руку, чуть дотронулся до её волос, но тотчас же, испугавшись своей смелости, отдернул руку прочь. Она всё плакала и ничего не говорила.

– Слышь!.. – помолчав, начал Лёнька, чувствуя настоящую потребность помочь ей. – Чего ты это? Поколотили, что ли?.. Так ведь пройдёт!.. А то, может, другое что? Ты скажи! Девочка – а?

Девочка, не отнимая рук от лица, печально качнула головой и наконец сквозь рыдания медленно ответила ему, поводя плечиками.

– Платок... потеряла!.. Батька с базара привёз... голубой, с цветками, а я надела – и потеряла. – И заплакала снова, сильнее и громче, всхлипывая и стонущим голосом выкликая странное: о-о-о!

Лёнька почувствовал себя бессильным помочь ей и, робко отодвинувшись от неё, задумчиво и грустно посмотрел на потемневшее небо. Ему было тяжело и очень жаль девочку.

– Не плачь!.. может, найдётся.. – тихонько прошептал он, но, заметив, что она не слышит его утешения, отодвинулся ещё дальше от неё, думая, что, наверное, от отца достанется ей за эту потерю. И тотчас же ему представилось, что отец, большой и чёрный казак, колотит её, а она,

захлёбываясь слезами и вся дрожа от страха и боли, валяется у него в ногах...

Он встал и пошёл прочь, но, отойдя шагов пять, снова круто повернулся, остановился против неё, прижавшись к плетню, и старался вспомнить что-нибудь такое ласковое и доброе...

– Ушла бы ты с дороги, девочка! Да уж перестань плакать-то! Пойди домой да и скажи всё, как было. Потеряла, мол... Что уж больно?..

Он начал говорить это тихим, соболезнующим голосом и, кончив возмущённым восклицанием, обрадовался, видя, что она поднимается с земли.

– Вот и ладно!.. – улыбаясь и оживлённо продолжал он. – Иди-ка вот. Хочешь, я с тобой пойду и расскажу всё? Заступлюсь за тебя, не бойся!

И Лёнька гордо повёл плечами, оглянувшись вокруг себя.

– Не надо... – прошептала она, медленно отряхивая пыль с платья и всё всхлипывая.

– А то – пойду? – с полнейшей готовностью громко заявил Лёнька и сдвинул себе на ухо картуз.

Теперь он стоял перед ней, широко расставив ноги, отчего надетые на нём лохмотья как-то храбро заершились. Он твёрдо постукивал палкой о землю и смотрел на неё упорно, а его большие и грустные глаза светились гордым и смелым чувством.

Девочка искоса посмотрела на него, размазывая по своему личику слёзы, и, снова вздохнув, сказала:

– Не надо, не ходи... Мамка не любит нищих-то.

И пошла от него прочь, два раза оглянувшись назад.

Лёньке сделалось скучно. Он незаметно, медленными движениями изменил свою решительную, вызывающую позу, снова сгорбился, присмирел и, закинув за спину свою котомку, висевшую до этого на руке, крикнул вслед девочке, когда она уже скрывалась за поворотом проулка:

– Прощай!

Она обернулась к нему на ходу и исчезла.

Приближался вечер, и в воздухе стояла та особенная, тяжёлая духота, которая предвещает грозу. Солнце уже было низко, и вершины тополей зарделись лёгким румянцем. Но от вечерних теней, окутавших их ветви, они, высокие и неподвижные, стали гуще, выше... Небо над ними тоже темнело, делалось бархатным и точно опускалось ниже к земле. Где-то далеко говорили люди и где-то ещё дальше, но в другой стороне – пели. Эти звуки, тихие, но густые, казалось, тоже были пропитаны духотой.

Лёньке стало ещё скучнее и даже боязно чего-то. Он захотел пойти к

деду, оглянувшись вокруг себя и быстро пошёл вперёд по переулку. Просить милостыню ему не хотелось. Он шёл и чувствовал, что у него в груди сердце бьётся так часто, часто и что ему как-то особенно лень идти и думать... Но девочка не выходила из его памяти, и думалось: «Что с ней теперь? Коли она из богатого дома, будут её бить: все богачи – скряги; а коли бедная, то, может, и не будут... В бедных домах ребят-то больше любят, потому что от них работы ждут». Одна за другой думы назойливо шевелились в его голове, и с каждой минутой томительное и щемящее чувство тоски, как тень сопровождавшее его думы, становилось тяжелее, овладевало им всё более.

И тени вечера становились удушливее, гуще. Навстречу Лёньке попадались казаки и казачки и проходили мимо, не обращая на него внимания, уже успев привыкнуть к наплыву голодающих из России. Он тоже лениво скользил потускневшим взглядом по их сытым крупным фигурам и быстро шёл к церкви, – крест её сиял за деревьями впереди его.

Навстречу ему нёсся шум возвращавшегося стада. Вот и церковь, низенькая и широкая, с пятью главами, выкрашенными голубой краской, обсаженная кругом тополями, вершины которых переросли её кресты, облитые лучами заката и сиявшие сквозь зелень розоватым золотом.

Вот и дед идёт к паперти, согнувшись под тяжестью котомки, и озирается по сторонам, приставив ладонь ко лбу.

За дедом тяжёлой, развалистой походкой шагает станичник в шапке, низко надвинутой на лоб, и с палкой в руке.

– Что, пуста котомка-то? – спросил дед, подходя ко внуку, остановившемуся, ожидая его, у церковной ограды. – А я вон сколько!.. – И, кряхтя, он свалил с плеч на землю свой холщовый, туго набитый мешок. – Ух!.. хорошо здесь подают! Ахти, хорошо!.. Ну, а ты чего такой надутый?

– Голова болит... – тихо молвил Лёнька, опускаясь на землю рядом с дедом.

– Ну?.. Устал... Сморился!.. Вот ночевать пойдём сейчас. Как казака-то того звать? А?

– Андрей Чёрный.

– Так мы и спросим: а где, мол, тут Чёрный Андрей? Вот к нам человек идёт... Да... Хороший народ, сытый! И всё пшеничный хлеб едят. Здравствуйте, добрый человек!

Казак подошёл к ним вплоть и медленно проговорил, в ответ на приветствие деда:

– И вы здравствуйте.

Затем, широко расставив ноги и остановив на нищих большие, ничего не выражавшие глаза, молча почесался.

Лёнька смотрел на него пытливо, дед моргал своими старческими глазами опросительно, казак всё молчал и наконец, высунув до половины язык, стал ловить им конец своего уса. Удачно кончив эту операцию, он втащил ус в рот, пожевал его, снова вытолкнул изо рта языком и наконец прервал молчание, уже ставшее томительным, лениво проговорив:

– Ну – пойдёмте в сборную!

– Зачем? – встрепенулся дед. У Лёньки дрогнуло что-то внутри.

– А надо... Велено. Ну!

Он поворотился к ним спиной и пошёл было, но, оглянувшись назад и видя, что оба они не трогаются с места, снова и уже сердито крикнул:

– Чего ж ещё!

Тогда дед и Лёнька быстро пошли за ним.

Лёнька упорно смотрел на деда и, видя, что у него трясутся губы и голова и что он, боязливо озираясь вокруг себя, быстро шарит у себя за пазухой, чувствовал, что дед опять нашалил чего-то, как и тогда в Тамани. Ему стало боязно, когда он представил себе таманскую историю. Там дед стянул со двора бельё и его поймали с ним. Смеялись, ругали, били даже и, наконец, ночью выгнали вон из станицы. Они ночевали с дедом где-то на берегу пролива в песке, и море всю ночь грозно урчало... Песок скрипел, передвигаемый набегавшими на него волнами... А дед всю ночь стонал и шёпотом молился богу, называя себя вором и прося прощения.

– Лёнька...

Лёнька вздрогнул от толчка в бок и посмотрел на деда. У того лицо вытянулось, стало суше, серее и всё дрожало.

Казак шёл впереди шагов на пять, курил трубку, обивал палкой головки репейника и не оборачивался на них.

– На вот, возьми!.. брось... в бурьян... да заметь, где бросишь!.. чтобы взять после... – чуть слышно прошептал дед и, плотно прижавшись на ходу ко внуку, сунул ему в руку какую-то тряпицу, свёрнутую в комок.

Лёнька отстранился, дрогнув от страха, сразу наполнившего холодом всё его существо, и подошёл ближе к забору, около которого густо разросся бурьян. Напряжённо глядя на широкую спину казака-конвоира, он протянул в сторону руку и, посмотрев на неё, бросил тряпку в бурьян...

Падая, тряпка развернулась, и в глазах Лёньки промелькнул голубой с цветами платок, тотчас заслонённый образом маленькой плачущей девочки. Она встала перед ним, как живая, закрыв собой казака, деда и всё окружающее... Звуки её рыданий снова ясно раздались в ушах Лёньки, и

ему показалось, что перед ним на землю падают светлые капельки слёз.

В этом почти неменяемом состоянии он пришёл позади деда в сборную, слышал глухое гудение, разобрать которое не мог и не хотел, точно сквозь туман видел, как из котомки деда высыпали куски на большой стол, и эти куски, падая глухо и мягко, стучали о стол... Затем над ними склонилось много голов в высоких шапках; головы и шапки были хмуры и мрачны и сквозь туман, облекавший их, качаясь, грозили чем-то страшным... Потом вдруг дед, хрипло бормоча что-то, как волчок завертелся в руках двух дюжих молодцов...

– Напрасно, православные!.. Неповинен, видит господь!.. – пронзительно звизгнул дед.

Лёнька, заплакав, опустился на пол.

Тогда подошли и к нему. Подняли, посадили на лавку и обшарили все лохмотья, покрывавшие его маленькое тельце.

– Брешет Даниловна, чёртова баба! – громыхнул кто-то, точно ударив по ушам Лёньки своим густым и раздражённым голосом.

– А может, они спрятали где? – крикнули в ответ ещё громче.

Лёнька чувствовал, что все эти звуки точно бьют его по голове, и ему стало так страшно, что он потерял сознание, вдруг точно нырнув в какую-то чёрную яму, раскрывшую перед ним бездонный зев.

Когда он очнулся, его голова лежала на коленях деда, над лицом его наклонилось дедово лицо, жалкое и сморщенное более, чем всегда, и из дедовых глаз, испуганно моргавших, капаят на его, Лёнькин, лоб маленькие мутные слёзы и очень щекотят, скатываясь по щекам на шею...

– Оклемался ли, родной?! Пойдём-ка отсюда. Пойдём, – отпустили, проклятые!

Лёнька поднялся, чувствуя, что в его голове налито что-то тяжёлое и что она вот-вот упадёт с плеч... Он взял её руками и закачался из стороны в сторону, тихо стоная.

– Болит головонька-то? Родненький ты мой!.. Измучили они нас с тобой... Звери! Кинжал пропал, вишь ты, да платок девчонка потеряла, ну, они и навалились на нас!.. Ох, господи! за что наказуешь?!

Скрипучий голос деда как-то царапал Лёньку, и он чувствовал, что внутри его разгорается острая искорка, заставляя его отодвинуться от деда дальше.

Отодвинулся и посмотрел вокруг...

Они сидели у выхода из станицы, под густой тенью ветвей корявого осокоря. Уже настала ночь, взошла луна, и её молочно-серебристый свет, обливая ровное степное пространство, сделал его как бы уже, чем оно было

днём, уже и ещё пустынной, грустнее. Издалека, со степи, слитой с небом, вздымались тучи и тихо плыли над ней, закрывая луну и бросая на землю густые тени. Тени плотно ложились на землю, медленно; задумчиво ползли по ней и вдруг пропадали, точно уходя в землю через трещины от жгучих ударов солнечных лучей... Из станицы доносились голоса, и кое-где в ней вспыхивали огоньки, перемигиваясь с ярко-золотыми звёздами.

– Пойдём, милый!.. идти надо, – сказал дед.

– Посидим ещё!.. – тихо сказал Лёнька.

Ему нравилась степь. Днём, идя по ней, он любил смотреть вперёд, туда, где свод неба опирается на её широкую грудь... Там он представлял себе большие чудные города, населённые невиданными им добрыми людьми, у которых не нужно будет просить хлеба – сами дадут, без просьб... А когда степь, всё шире развёртываясь перед его глазами, вдруг выдвигала из себя станицу, уже знакомую ему, похожую строениями и людьми на все те, которые он видел прежде, ему делалось грустно и обидно за этот обман.

И теперь он задумчиво смотрел вдаль, откуда выползали медленно тучи. Они казались ему дымом тысяч труб того города, который так ему хотелось видеть... Его созерцание прервал сухой кашель деда.

Лёнька пристально взглянул в смоченное слезами лицо деда, жадно глотавшего воздух.

Освещённое луной и перекрытое странными тенями, падавшими на него от лохмотьев шапки, от бровей и бороды, это лицо, с судорожно двигавшимся ртом и широко раскрытыми глазами, светившимися каким-то затаённым восторгом, – было страшно, жалко и, возбуждая в Лёньке то, новое для него, чувство, заставляло его отодвигаться от деда подальше...

– Ну, посидим, посидим!.. – бормотал он и, глупо ухмыляясь, шарил за пазухой.

Лёнька отвернулся и снова стал смотреть вдаль.

– Лёнька!.. Погляди-ка!.. – вдруг всхлипнул дед восторженно и, весь корчась от удушливого кашля, протянул внуку что-то длинное и блестящее. – В серебре! серебро ведь!.. полсотни стоит!..

Руки и губы у него дрожали от жадности и боли, и всё лицо передёргивалось.

Лёнька вздрогнул и оттолкнул его руку.

– Спрячь скорей!.. ах, дедушка, спрячь!.. – умоляюще прошептал он, быстро оглядываясь кругом.

– Ну, чего ты, дурашка? боишься, милый?.. Заглянул я в окно, а он висит... я его цап, да и под полу... а потом спрятал в кустах. Шли из

станции, я будто шапку уронил, наклонился и взял его... Дураки они!.. И платок взял – вот он где!..

Он выхватил дрожащими руками платок из своих лохмотьев и потряс им перед лицом Лёньки.

Перед глазами Лёньки разорвалась туманная завеса и встала такая картина: он и дед быстро, насколько могут, идут по улице станции, избегая взглядов встречающих людей, идут пугливо, и Лёньке кажется, что каждый, кто хочет, вправе бить их обоих, плевать на них, ругаться... Всё окружающее – заборы, дома, деревья – в каком-то странном тумане колеблется, точно от ветра... и гудят чьи-то суровые, сердитые голоса... Этот тяжёлый путь бесконечно долог, и выход из станции в поле не виден за плотной массой шатающихся домов, которые то придвигаются к ним, точно желая раздавить их, то уходят куда-то, смеясь им в лицо тёмными пятнами своих окон... И вдруг из одного окна звонко раздаётся: «Воришки! Воришки! Воришка, ворёнок!..» Лёнька украдкой бросает взгляд в сторону и видит в окне ту девочку, которую давеча он видел плачущей и хотел защищать... Она поймала его взгляд и высунула ему язык, а её синие глазки сверкали зло и остро и кололи Лёньку, как иглы.

Эта картина воскресла в памяти мальчика и моментально исчезла, оставив по себе злую улыбку, которую он бросил в лицо деду.

Дед всё говорил что-то, прерывая себя кашлем, махал руками, тряс головой и отирал пот, крупными каплями выступавший в морщинах его лица.

Тяжёлая, изорванная и лохматая туча закрыла луну, и Лёньке почти не видно было лица деда... Но он поставил рядом с ним плачущую девочку, вызвав её образ перед собой, и мысленно как бы измерял их обоих. Немощный, скрипучий, жадный и рваный дед рядом с ней, обиженной им, плачущей, но здоровой, свежей, красивой, показался ему ненужным и почти таким же злым и дрянным, как Кощей в сказке. Как это можно? За что он обидел её? Он не родной ей...

А дед скрипел:

– Кабы сто рублей скопить!.. Умер бы я тогда покойно...

– Ну!.. – вдруг вспыхнуло что-то в Лёньке. – Молчи уж ты! Умер бы, умер бы... А не умираешь вот... Воруешь!.. – взвизгнул Лёнька и вдруг, весь дрожа, вскочил на ноги. – Вор ты старый!.. У-у! – И, сжав маленький, сухой кулачок, он потряс им перед носом внезапно замолкшего деда и снова грузно опустился на землю, продолжая сквозь зубы: – У дити украл... Ах, хорошо!.. Старый, а туда же... Не будет тебе на том свете прощенья за это!..

Вдруг вся степь всколыхнулась и, охваченная ослепительно голубым светом, расширилась... Одевавшая её мгла дрогнула и исчезла на момент... Грянул удар грома и, рокоча, покатился над степью, сотрясая и её и небо, по которому теперь быстро летела густая толпа чёрных туч, утопившая в себе луну.

Стало темно. Далеко где-то ещё, молча, но грозно, сверкнула молния, и спустя секунду снова слабо рыкнул гром... Потом наступила тишина, которой, казалось, не будет конца.

Лёнька крестился. Дед сидел неподвижно и молча, точно он сросся с стволом дерева, к которому прислонился спиной.

– Дедушка!.. – прошептал Лёнька, в мучительном страхе ожидая нового удара грома. – Идём в станицу!

Небо снова дрогнуло и, снова вспыхнув голубым пламенем, бросило на землю могучий металлический удар. Как будто тысячи листов железа сыпались на землю, ударяясь друг о друга...

– Дедушка!.. – крикнул Лёнька.

Крик его, заглушаемый отзвуком грома, прозвучал, как удар в маленький разбитый колокол.

– Что ты... Боишься... – хрипло проговорил дед, не шевелясь.

Стали падать крупные капли дождя, и их шорох звучал так таинственно, точно предупреждал о чём-то... Вдали он уже вырос в сплошной, широкий звук, похожий на трение громадной щёткой по сухой земле, – а тут, около деда и внука, каждая капля, падая на землю, звучала коротко и отрывисто и умирала без эха. Удары грома всё приближались, и небо вспыхивала чаще.

– Не пойду я в станицу! Пусть меня, старого пса, вора... здесь дождь потопит... и гром убьёт!.. – задыхаясь, говорил дед. – Не пойду!.. Иди один... Вот она, станица... Иди!.. Не хочу я, чтобы ты сидел тут... пошёл! Иди, иди!.. Иди!..

Дед уже кричал глухо и сипло.

– Дедушка!.. прости!.. – придвигаясь к нему, взмолился Лёнька.

– Не пойду... Не прощу... Семь лет я тебя нянчил!.. Всё для тебя... и жил... для тебя. Рази мне надо что?.. Умираю ведь я... Умираю... а ты говоришь – вор... Для чего вор? Для тебя... для тебя это всё... Вот возьми... возьми... бери... На жизнь твою... на всю... копил... ну и воровал... Бог видит всё... Он знает... что воровал... знает... Он меня накажет. О-он не помилует меня, старого пса... за воровство. И наказал уж... Господи! наказал ты меня!.. а? наказал?.. Рукой ребёнка убил ты меня!.. Верно, господи!.. Правильно!.. Справедлив ты, господи!.. Пошли по

душу мою... Ох!..

Голос деда поднялся до пронзительного визга, вселившего в грудь Лёньки ужас.

Удары грома, сотрясая степь и небо, рокотали теперь так гулко и торопливо, точно каждый из них хотел сказать земле что-то необходимо нужное для неё, и все они, перегоняя один другого, ревели почти без пауз. Раздираемое молниями небо дрожало, дрожала и степь, то вся вспыхивая синим огнём, то погружаясь в холодный, тяжёлый и тесный мрак, странно суживавший её. Иногда молния освещала даль. Эта даль, казалось, торопливо убегает от шума и рёва...

Полил дождь, и его капли, блестя, как сталь, при блеске молнии, скрыли собой приветно мигавшие огоньки станицы.

Лёнька замирал от ужаса, холода и какого-то тоскливого чувства вины, рождённого криком деда. Он уставил перед собою широко раскрытые глаза и, боясь моргнуть ими даже и тогда, когда капли воды, стекая с его вымоченной дождём головы, попадали в них, прислушивался к голосу деда, тонувшему в море могучих звуков.

Лёнька чувствовал, что дед сидит неподвижно, но ему казалось, что он должен пропасть, уйти куда-то и оставить его тут одного. Он, незаметно для себя, понемногу придвигался к деду и, когда коснулся его локтем, вздрогнул, ожидая чего-то страшного...

Разорвав небо, молния осветила их обоих, рядом друг с другом, скорченных, маленьких, обливаемых потоками воды с ветвей дерева...

Дед махал рукой в воздухе и всё бормотал что-то, уже уставая и задыхаясь.

Взглянув ему в лицо, Лёнька крикнул от страха. При синем блеске молнии оно казалось мёртвым, а вращавшиеся на нём тусклые глаза были безумны.

– Дедушка!.. Пойдём!.. – взвизгнул он, ткнув свою голову в колени деда.

Дед склонился над ним, обняв его своими руками, тонкими и костлявыми, крепко прижал к себе и, тиская его, вдруг взвыл сильно и пронзительно, как волк, схваченный капканом.

Доведённый этим воем чуть не до сумасшествия, Лёнька вырвался от него, вскочил на ноги и стрелой помчался куда-то вперёд, широко раскрыв глаза, ослепляемый молниями, падая, вставая и уходя всё глубже в тьму, которая то исчезала от синего блеска молнии, то снова плотно охватывала обезумевшего от страха мальчика.

А дождь, падая, шумел так холодно, монотонно, тоскливо. И казалось,

что в степи ничего и никогда не было, кроме шума дождя, блеска молнии и раздражённого грохота грома.

Поутру другого дня, выбежав за околицу, станичные мальчики тотчас же воротились назад и сделали в станице тревогу, объявив, что видели под осокорью вчерашнего нищего и что он, должно быть, зарезан, так как около него брошен кинжал.

Но когда старшие казаки пришли смотреть, так ли это, то оказалось, что не так. Старик был жив ещё. Когда к нему подошли, он попытался подняться с земли, но не мог. У него отнялся язык, и он спрашивал всех о чём-то слезящимися глазами и всё искал ими в толпе, но ничего не находил и не получал никакого ответа.

К вечеру он умер, и зарыли его там же, где взяли, под осокорью, находя, что на погосте его хоронить не следует: во-первых – он чужой, во-вторых – вор, а в-третьих – умер без покаяния. Около него в грязи нашли кинжал и платок.

А через два или три дня нашёлся Лёнька.

Над одной степной балкой, недалеко от станицы, стали кружиться стаи ворон, и когда пошли посмотреть туда, нашли мальчика, который лежал, раскинув руки и лицом вниз, в жидкой грязи, оставшейся после дождя на дне балки.

Сначала решили похоронить его на погосте, потому что он ещё ребёнок, но, подумав, положили рядом с дедом, под той же осокорью. Насыпали холм земли и на нём поставили грубый каменный крест.